



## К. И. ЧУКОВСКИЙ

### Горький

#### I

Горького я впервые увидел в Петрограде зимою девятьсот пятнадцатого года. Спускаясь по летнице к выходу в одном из громадных домов, я засмотрелся на играющих в вестибюле детей.

В это время в парадную с улицы легкой и властной походкой вошел насупленный мужчина в серой шапке. Лицо у него было сердитое и даже как будто злое. Длинные усы его обледенели (на улице был сильный мороз), и от этого он казался еще более сердитым. В руке у него был тяжелый портфель, огромных, невиданных мною размеров.

Детей звали спать. Они расшалились, не шли. Человек глянул на них и сказал, не замедляя шагов:

Даже кит  
Ночью спит!

В эту секунду вся его угрюмость пропала, и я увидел горячую синеву его глаз. Взглянув на меня, он опять насупился и мрачно зашагал по ступеням.

Позже, когда я познакомился с ним, я заметил, что у него на лице чаще всего бывают два выражения.

Одно — хмурое, тоскливо-враждебное. В такие минуты казалось, что на этом лице невозможна улыбка, что там и нет такого материала, из которого делаются улыбки.

И другое выражение, всегда внезапное, всегда неожиданное: празднично-застенчиво-умиленно-влюбленное. То есть та самая улыбка, которая за секунду до этого казалась невысказанной.

Я долго не мог привыкнуть к этим внезапным чередованиям любви и враждебности. Помню, в 1919 или 1920 году я слушал

в Аничковом дворце его лекцию о Льве Толстом<sup>1</sup>. Осудительно и жестко говорил он об ошибках Толстого, и чувствовалось, что он никогда не уступит Толстому ни вершка своей горьковской правды. И голос у него был недобрый, глухой, и лицо тоскливо-неприятное. Но вот он заговорил о Толстом как о «звучном колоколе мира сего», и на лице его появилась такая улыбка влюбленности, какая редко бывает на человеческих лицах. А когда он дошел до упоминания о смерти Толстого, оказалось, что он не может произнести этих двух слов: «Толстой умер», — беззвучно шевелит губами и плачет. Так огромна была нежность к Толстому, охватившая его в ту минуту. Слушатели — несколько сот человек — сочувственно и понимающе молчали. А он так и не выговорил этих слов: покинул кафедру и ушел в артистическую. Я бросился к нему и увидел, что он стоит у окна и, теребя папироску, сиротливо плачет о Льве Николаевиче. Через минуту он вернулся на кафедру и хмуро продолжал свое чтение.

Впоследствии я заметил, что внезапные приливы влюбленности бывают у Горького чаще всего, когда он говорит о детях, о замечательных людях и книгах.

Перебирая книги в своем кабинете на Кронверкском проспекте (в Ленинграде), он каким-то особенным, почтительным и ласкающим жестом брал с полок то ту, то другую книгу и говорил о ней певуче и страстно, глядя ее, как живую: о Кирше Данилове<sup>2</sup> (которого он знал наизусть), о «Плачах» Барсова<sup>3</sup>, о тимиразевской «Жизни растений»<sup>4</sup>, о «Русской истории» Ключевского<sup>5</sup>, о «Калевале», о «Мадам Бовари».

К нам, сочинителям книг, он относился с почти невероятным участием, готов был сотрудничать с каждым из нас, делать за нас черную работу, отдавать нам десятки часов своего рабочего времени, и, если писание наше не клеилось, мы знали: есть в СССР переутомленный, тяжело больной человек, который охотно и весело поможет не только советами, но и трудом.

Я пользовался его помощью множество раз, эксплуатируя, как и другие писатели, его кровную заинтересованность в повышении качества нашей словесности.

В последний раз я обратился к нему за помощью в год его смерти и даже не удивился, когда через несколько дней получил от него большое письмо, где он предлагает мне и советы, и помощь, и деньги.

Дело шло об одной моей книге, которую я сочинил еще в двадцатых годах. Книга так и не увидела света — фантастичес-

кая повесть о том, как люди в СССР научились управлять погодой. Книга оказалась неудачной. По прошествии многих лет я затеял написать ее по-новому. Но как? В каком стиле? Для какого читателя? Прозой или стихами?

И я обратился за советом к Алексею Максимовичу. Он тотчас же прислал мне такое письмо:

«Я думаю, дорогой Корней Иванович, что повесть на тему, избранную вами, следует писать непременно прозой и для ребят среднего возраста. Малышам эта тема не будет понятна... Подумайте: вам придется говорить о льдах Арктики, о лесных массивах и тундрах севера, о “вечной мерзлоте” и всякой всячине этого рода — в наше время, когда гипотетическое мышление становится все более обычным и “безумным”. Вон, капитан Гернет предлагает уничтожить Гренландский ледяной лишай и возратить Сибирь с Канадой в миоценовый период, а еще некто затевает утилизировать вращение Земли вокруг ее оси, а третий ищет родоначальницу растительной и живой клетки. И всего этого вы должны “коснуться”.

Я не “запугиваю” вас: мне затея ваша горячо нравится. И я думаю, что вы осуществите ее. Как надо ставить дело практически и чем я могу быть полезен вам? Мог бы достать вам денег в каком угодно размере для спокойной, непрерывной работы год, два.

Указать вам метеорологов — не могу, никого не знаю. Но полагаю, что вам не худо будет побеседовать с гелиотехниками<sup>6</sup> — в Слуцке, Самарканде, с полярниками. А по вопросу о нашей атмосфере вы найдете, пожалуй, интереснейшие намеки в “Геохимии” Вернадского. Вообще вам потребуются химики-электрики, они в лучшем качестве у нас в Ленинграде, около Иоффе<sup>7</sup> — Дорфман, кажется, с “фантазией”. Сия последняя будет вам великой помощницей. Сердечно желаю успеха.

А. Пешков».

В этом письме характерна раньше всего страстная заинтересованность Горького в том, чтобы задуманная советским писателем книга была непременно написана, и притом с максимальной удачей.

Больной, перегруженный непосильным трудом, он тратит свое время, которого у него осталось так мало, на внимательную разработку задуманного мною сюжета, на подыскание для меня материалов. И, не ограничиваясь советами, щедро предлагает мне деньги «в каком угодно количестве».

Это письмо не исключение, а правило. Такова была ежедневная практика Горького. Мы, писатели, большие и маленькие, успели за долгие годы привыкнуть к тому, что вот есть в нашей стране человек, который каждую строку принимает к сердцу, как свое личное дело.

У него была веселая манера — дарить писателям книги. Чуть узнает, что вы работаете над какой-нибудь темой, принесет вам

на ближайшее заседание в огромном портфеле из своей библиотеки те книги, которые могут пригодиться для вашей работы, и, не говоря ни слова, мимоходом, положит перед вами на стол.

Мне, например, он подарил несколько книг по Некрасову, в том числе заграничное издание «Кому на Руси жить хорошо», книгу француза Базальжетта об Уолте Уитмене, несколько томов «Современника». Акиму Волынскому постоянно приносил какие-то итальянские книги, и было похоже, что он, мастер, раздаёт подмастерьям рубанки и стамески для работы. Высшая была у него похвала о каком-нибудь писателе — работник. Самое это слово он произносил веско и радостно, словно поднимал какую-то приятную тяжесть: «ра-ботник».

В первые годы революции мы, петроградские писатели, встречались с ним особенно часто. Он взвалил на себя все наши нужды, и когда у нас рождался ребенок, он выхлопатывал для новорожденного соску; когда мы заболели тифом, он хлопотал, чтобы нас поместили в больницу; когда мы выражали желание ехать на дачу, он писал в разные учреждения письма, чтобы нам предоставили Сестрорецкий курорт.

Я думаю, если бы во всех учреждениях собрать все письма, в которых Горький ходатайствовал в ту пору о русских писателях, получилось бы, по крайней мере, томов шесть его прозы, потому что он тогда не писал ни романов, ни повестей, ни рассказов, а только эти бесконечные письма.

Помню, посетила его поэтесса Наталья Грушко, и, когда она ушла, он сказал:

— Черт их знает! Нет ни дров, ни света, ни хлеба, а они как ни в чем не бывало — извольте!

Оказывается, поэтесса на днях родила, и ей необходимо молоко.

— Нечего делать, похлопотал о ней, и вот вчера она получает бумагу: «Разрешается молочнице такой-то возить молоко жене Максима Горького (такой-то)».

И указана фамилия поэтессы.

Однажды я сказал ему, что ему причитается на Мурманской железной дороге паек — гонорар за лекцию, прочитанную им в тамошнем клубе. Он спросил, нельзя ли, чтобы этот паек получила вместо него одна переводчица, очень тогда голодавшая.

— Как же ее записать?

— Запишите: моя сестра.

Таких «жен» и «сестер» у него в ту пору было множество.

— Какая у Горького большая семья! — жаловался один довольственник, к которому Горький всегда обращался с за-

писками о хлебе, крупе, селедках для писательской братии. И нужно прямо сказать, что, если мы пережили те бесхлебные, тифозные годы, этим мы в значительной мере обязаны нашему «родству» с Максимом Горьким, для которого все мы, большие и маленькие, стали тогда как родная семья.

В сентябре 1918 года Горький основал в Петрограде издательство «Всемирная литература». Руководить этим издательством должна была «ученая коллегия экспертов», первоначально из девяти человек. В качестве «специалиста по англо-американской словесности» вошел в эту коллегия и я. Сперва редакция наша ютилась в тесноватом помещении на Невском (№ 64), недалеко от Аничкова моста (бывшая редакция газеты «Новая жизнь»), но к зиме переехала в великолепный особняк на Моховой (№ 36), с мраморной лестницей, с просторными и светлыми комнатами. Мы собирались по вторникам и пятницам вокруг длинного стола, покрытого красным сукном, и под председательством Алексея Максимовича тщательно обсуждали те книги, которые надлежало выпустить в ближайшие годы. Горького захватила широкая мысль: дать новому, советскому читателю самые лучшие книги, какие написаны на нашей планете самыми лучшими авторами, чтобы этот новый читатель мог изучить мировую словесность по лучшим переводным образцам. К зиме наша коллегия разрослась, и мы с удесятяренными силами принялись за работу, чтобы возможно скорее поставить на рельсы многосложное дело.

Словесность чуть не каждой страны имела в нашей коллегии своих представителей. Индийцы были представлены академиком Ольденбургом<sup>8</sup>. Арабы — академиком Крачковским<sup>9</sup>. Китайцы — академиком Алексеевым<sup>10</sup>. Монголы — академиком Владимирцовым<sup>11</sup>. Александр Блок вместе с двумя профессорами-германистами ведал германскую словесность, Николай Гумилев вместе с Андреем Левинсоном<sup>12</sup> — французскую. Я с Евгением Замятиным — англо-американскую. Акиму Волынскому была вверена словесность итальянская. Директором издательства был Александр Николаевич Тихонов (Серебров), многолетний сотрудник Горького и близкий ему человек.

Каждый из них делал доклады по своей специальности. Гумилев тогда же написал мне в рукописный альманах «Чукоккала»:

Уже подумал о побеге я,  
Когда читалась нам Норвегия,  
А ныне пущие страдания:  
Рассматривается Испания.

Но, к счастью, предстоит нам далее  
Моя любимая Италия.

В течение нескольких лет мы вели эту работу под председательством Горького, и тут впервые для меня обнаружались такие его черты, о которых я и не подозревал до тех пор.

Раньше всего оказалось, что он первоклассный знаток иностранной словесности. В публике издевались: «Пролетарий, не знает ни одного языка, а председательствует в ученой коллегии!» Но этот пролетарий оказался учнее иного профессора. О ком бы ни заговорили при нем — о Готорне, Вордсворте, Шамиссо<sup>13</sup> или Людвиге Тике, — он говорил о их писаниях так, словно изучал их всю жизнь, хотя часто произносил их имена на нижегородский манер. Назовут, например, при нем какого-нибудь мелкого француза, о котором никто никогда не слышал, мы молчим и конфузимся, а Горький говорит деловито:

— У этого автора есть такие-то и такие-то вещи. Эта слабовата, а вот эта (тут он расцветает улыбкой) отличная, очень сильная вещь.

Второй, неожиданной чертой его личности оказалось его безжалостное, я бы сказал — свирепое отношение к себе. Многие со стороны полагали, что он у нас лишь номинальный председатель, а между тем он был чернорабочий, не брезговавший самым невзрачным и нудным трудом. После каждого заседания он уносил с собою полный портфель чужих рукописей, которые мы просили его «просмотреть», но он не только «просматривал» их, а все перерабатывал заново, до неузнаваемости исчеркивал каждую рукопись своими поправками.

С удивлением разглядывали мы эти рукописи. Иногда в них сотни страниц, требующие многодневной работы. Все плохое аккуратно вычеркнуто синим карандашом, и над каждой неудачной строкой лепятся старательные, отрывистые и четкие буквы, которые так характерны для почерка Горького. И в каждую такую рукопись вложена написанная его рукою рецензия — результат столь же большого труда.

Естественно, что едва только мы увидели, как беспощадно он относится к себе, мы постарались, насколько возможно, ограждать его от подобной поденщины, но это не удавалось почти никогда, особенно если дело шло о так называемой «народной» серии книг, предназначенной для широких читательских масс. «Народную серию» Горький принимал к сердцу ближе всего остального и требовал, чтобы мимо него не проходила ни одна из этих книг. Иногда, чтобы выбрать для маленького томика семь или восемь наиболее подходящих рассказов какого-ни-

будь иностранного автора, он прочитывал вдесятеро больше, чуть ли не все собрания его сочинений.

Но всего примечательнее в его тогдашней работе была его чудесная веселость. Он делал работу как бы шутя и играя. Когда мы, писатели и профессора, собрались впервые по его приглашению за общим столом, мы конфузились и чувствовали себя, словно связанные. И он вначале тоже все больше молчал. Профессора были помпезны и чопорны, а писатели мрачны и как будто обижены. Но вот однажды, после нескольких предварительных встреч, среди заседания, которое шло напряженно и туго, он вдруг засмеялся и сказал виновато:

— Прошу прощения... ради бога, извините.

И опять засмеялся.

— Я ни об ком из вас... это не имеет никакого отношения к вам. Просто Федор\* вчера вечером рассказывал... ха, ха, ха... я весь день смеюсь... ночью вспомнил и ночью смеялся... как одна дама в обществе вдруг вежливо сказала: «Извините, пожалуйста, не сердитесь, я сейчас заржу», — и заржала, как лошадь, а за нею другие, кто робко, кто гневно... Удивительно это у Федора вышло.

Шутка Горького рассмешила и сблизила нас. Мы заговорили между собой по-другому.

Горький ввел эту дружественную шутливость в систему наших совместных работ. Впоследствии, когда мы сблизились с ним более тесно, у нас установился обычай: после всякого заседания, если он никуда не спешил, он усаживался у камина и, подтянув выше колен свои высокие белые валенки и сунув в них руки, начинал по случайному поводу рассказывать нам какую-нибудь историю из собственной жизни. Начинал конфузливо, в усы, обращаясь к одному из нас, чаще всего к академику Ольденбургу или к профессору Батюшкову<sup>14</sup>, но потом оживлялся и рассказывал с большим одушевлением. Помню, Александр Блок любил эти рассказы и всегда вспоминал их, когда мы возвращались домой.

Один из горьковских рассказов мне тогда же удалось записать слово в слово. Рассказывал Горький очень медленно, с паузами, повторяя последнее слово каждой фразы по несколько раз, так что записывать за ним было легко.

«Появляется, — рассказывал Горький, — вот этакий остров в Каспийском зеленовато-опаловом море — это идет сельдь. Слой сельдей так густ, что, поставь весло, — стоит. Верхние

\* Шаляпин.

слои в воде, а в воздухе — уже сонные, удивительно красивое зрелище. Есть такие озорники, что ныряют вглубь, под этот остров, но потом не вынырнут, — все равно как под лед нырнули: тонут.

— А вы тонули? — спросил Ольденбург.

— Раз шесть. Как-то в Нижнем зацепился ногою за канат — на дне оказался якорь — и не мог освободить ногу. Так и остался бы на дне, если бы не увидел извозчик, который ехал тогда по откосу. Извозчик увидел, что вот человек нырнул и не вынырнул, и кинулся к берегу. Ну, конечно, я без чувств был, и вот тогда я узнал, что такое, когда в чувство приводят. У меня и так кожа с ноги была содрана, как чулок (за якорь зацепился), а потом, как приводили в чувство, катали меня по камням, по доскам, — занозили, исцарапали все тело, я очнулся, глянул, думаю: здóрово!

А другой раз нас оторвало и унесло в Капийское море... баржу... Человек сто было. Ну, бабы вели себя храбро, а мужчины сплеховали... Двое с ума сошли... Нас носило по волнам шестьдесят два часа... Ну, бабы же там, на рыбных промыслах! Мускулистые дамы! Например, вот этакий стол, вдвое длиннее нашего, они стоят рядом, и вот попадает к ним трехпудовая рыбина, и так из рук в руки катится, ни минуты не задерживается, — вырежут молоки... руки голые и вот (он показал, какая у них высокая грудь)... этот промысел у них наследственный. Они еще при Екатерине этим занимались. Отличные бабы!»

В другой раз он начал подробно рассказывать, как он из озорства перебежал перед самым паровозом по рельсам. Научил его этому Ваня или Федя Стрельцов, вихрастый мальчишка, товарищ. Стрельцов делал это множество раз, и вот Горький позавидовал ему...

Но тут Горького вызвали по спешному делу, мы так и не узнали, как прошла эта забава.

Его вообще постоянно вызывали тогда по всяким оказиям, не давали кончить ни разговора, ни дела, но это не мешало ему. Он вставал легко и эластично, уходил, входил и опять уходил, все его движения были точны и четки, как у матроса на палубе, и, сделав что надо, он без труда принимался за прерванное.

Однажды, у того же камина, он рассказывал нам весь вечер о Чехове; к сожалению, из этих рассказов мне удалось записать лишь один.

«Был в Ялье татарин, все подмигивал одним глазом, ходил к знаменитостям и подмигивал. Чехов его не любил. Раз спра-



шивает маму: “Мамаша, зачем приходил этот татарин?” — “А он, Антоша, хотел спросить у тебя одну вещь”. — “Какую?” — “Как ловят китов?” — “Китов? Очень просто: берут много селедок и бросают киту. Кит наестся соленого, захочет пить. А пить ему не дают. Нарочно. В море вода тоже соленая. Вот он и плывет к реке, чтобы напиться пресной воды. Чуть он заберется в реку, люди делают в реке запруду, чтобы не было ему ходу назад — и кит пойман...”

Мамаша кинулась разыскивать татарина — рассказать ему, как ловят китов» \*.

Таков был на первых порах дружественный, простой и веселый стиль нашей совместной работы. Эта веселость, конечно, немало способствовала ее плодотворности. Работа была не из легких: нужно было наметить к изданию несколько тысяч книг, написанных на языках всего мира, нужно было найти квалифицированных мастеров-переводчиков, нужно было дать подробный, строго принципиальный разбор прозаических и стиховых переводов, сделанных переводчиками предыдущих эпох. Нужно было выработать лабораторным путем точные критерии для этой оценки.

Именно оттого, что руководство Алексея Максимовича носило такой дружеский и непринужденный характер, оно неизменно вело к повышению качества наших трудов. Многие были рады просидеть за работой всю ночь, лишь бы Горький на ближайшем заседании взглянул на них благодарно и весело.

Нужно сознаться, что его речи на наших заседаниях часто бывали речами художника, необычными в профессорской среде.

Когда Александр Блок прочитал в нашей секции «Исторических картин»<sup>15</sup> свою египетскую пьесу «Рамзес», Горький неожиданно сказал:

— Надо было немного вот так.

И он вытянул руки вбок, как древний египтянин.

— Надо каждую фразу поставить в профиль!

Блок понимающе кивнул. Он понял, что Горькому фразеология «Рамзеса» показалась слишком оторванной от египетской почвы.

Однажды для какой-то литературной справки Горький принес на наше заседание журнал «Шут»<sup>16</sup>. Один из «всемирных литераторов» долго перелистывал его и грустно сказал:

— Мало юмора у русских людей.

\* Этот рассказ Горького, как и предыдущий, записан мною слово в слово, со стенографической точностью.

— Помилуйте, — отозвался Горький, — русские такие юмористы. Как-то пришла ко мне одна провокаторша, каялась, плакала, слезы текли даже из ушей, а сегодня встречаю ее в одном учреждении и как ни в чем не бывало: «Здравствуйте, говорит, Алексей Максимыч!» — «Здравствуйте, говорю, здравствуйте...»

А то пришла ко мне недавно барыня, на ней фунта четыре серебра, фунта два золота, и просит о двух своих мужьях, которые попали в тюрьму «по ошибке». Я обещал выяснить, похлопотать, а она спрашивает: «Сколько же вы за это возьмете?..» Ну, разве не юмористы?

Сквозь всю его суровость, а порою и хмурость, в нем часто пробивалось озорство.

Весною девятнадцатого (или, вернее, двадцатого) года, идя по Моховой во «Всемирную», я увидел перед собою высокую фигуру Алексея Максимовича. Его широкополая черная итальянская шляпа высилась над головами. Я бросился его догнать. Как всегда, он шагал очень быстро, но вдруг остановился у какого-то дома. Когда я подбежал, оказалось, что он обращается к девушке, сидящей на ступеньках закрытой лавочки. Девушке лет девятнадцать. Лицо у нее круглое, пухлое, доброе, детское. Из-под вязаного берета — кудряшки. На руке кумачовая лента с самодельной надписью ГОРОХР (то есть городская охрана; так называлась в то время милиция). Очевидно, девушка только что освободилась от ночного дежурства. Она отвернулась от улицы и, глядя в осколок зеркала, прилежно занимается своим туалетом. А ее винтовка лежит в стороне, на отлете. Горькому, очевидно, захотелось проверить, хорошо ли она охраняет оружие, ввереное ей государством. Быстро нагнувшись, он похищает винтовку и делает шаг, словно хочет незаметно уйти. Но девушка видит похитителя в зеркальце и, даже не повернув головы, говорит ему неожиданным басом:

— Положь на место!

Он улыбается ей, но винтовки не возвращает. Она вскакивает и достает из кармана свисток.

— Кому говорю! Перестань баловаться.

Прохожие бурно вступаются за престиж молодой милиции.

— Это же Горький, — пробую я объяснить.

— А мне хоть Сладкий! — в гневе возражает девица. — Хулиганить никому не приказано.

Все это очень нравится Алексею Максимовичу. Он возвращает милиционерке ружье, и мы продолжаем путь.

— Авторитетная дама! — говорит он с восхищением. И смеется.

В какой дружественной обстановке велись наши тогдашние работы, видно хотя бы из того, что Горький тут же, на заседаниях, брал у меня мой рукописный альманах «Чукоккалу», рассматривал ее и записывал в нее разные забавные истории — чаще всего крохотные рассказы из собственной жизни.

Вот один из этих бесценных автографов:

«Иду в Самаре берегом Волги поздно ночью — вдруг слышу:  
— Спасите, батюшки!

Темно, небо в тучах, на реке стоят огромные баржи. Между берегом и бортом одной из них в черной воде кто-то плещется.

Влез я в воду, достиг утопающего, взял его за волосы и выволок на землю. А он меня — за шиворот.

— Ты, — говорит, — какое право имеешь за волосы людей драть?

Удивился я.

— Да ведь ты тонул, — говорю, — ведь ты кричал спасите!

— Чертова голова! Где же я тонул, ежели всего по плечи в воде стоял да еще за канат держался? Слеп ты, что ли?

— Но ты кричал — спасите!

— Мало ли как я могу кричать? Я закричу, что ты дурак, поверишь ты мне? Давай рупь, а то в полицию сведу! Ну, да вай...

Поспорил я с ним несколько — вижу: прав человек по-своему. Дал ему, что было у меня, — тридцать пять копеек, — и пошел домой умнее, чем был».

У Алексея Максимовича было немало записей о его встречах с Толстым. Эти записи впоследствии частично вошли в его книгу о великом писателе. Но он потерял их и, думая, что они никогда не найдутся, пересказал их мне как-то ночью по памяти (в девятнадцатом году).

Вскоре эти записи нашлись, и, когда я перечитал их в печати, я не нашел двух мелких эпизодов, которые Горький рассказывал мне тогда. Эти эпизоды такие.

«Однажды в лесу Лев Толстой сказал мне: “Вот на этом месте Фет читал свои стихи. Смешной был человек Фет”. — “Смешной?” — “Ну да, смешной, все люди смешные. И вы смешной, и я смешной — все”».

И еще.

«Была пасха. Шаляпин подошел к Толстому похристосоваться:

— Христос воскрес, Лев Николаевич!

Толстой промолчал, дал Шаляпину поцеловать себя в щеку, потом сказал неторопливо и веско:

— Христос не воскрес, Федор Иванович... Не воскрес...»

## II

У меня сохранилось несколько писем Алексея Максимовича, относящихся к нашей тогдашней работе.

В первое время он писал их почти ежедневно то одному, то другому из нас — по поводу всякой прочитанной рукописи или намеченной к изданию книги. При всей своей лаконичности иные из этих писем, или, вернее, записочек, стоили пространственных рецензий — столько в них было сконцентрировано метких оценок, догадок и сведений.

Например, об известном романе английского романиста Джона Голсуорси, который я наметил было к напечатанию в нашем издательстве, он прислал мне такую записку:

«Корней Иванович! “Фарисеи” Голсуорси — вещь очень схематическая и художественно слабая, как мне кажется. Процесс развития социальной совести у героя слишком напоминает плохие русские книги 70-х годов. Не думаю, чтоб англичанин мог достичь в столь краткий срок гипертрофии совести, как это случилось с героем Голсуорси.

Я всецело предпочитаю “Братство”: эта книга написана более убедительно и мастерски.

Мне кажется, что к ней нужно дать небольшое предисловие на тему о развитии самокритики в английском обществе конца XIX века.

А. Пешков».

Эта беглая и краткая записка легко может быть развита до размеров журнальной статьи. «Фарисеи» действительно написаны по той наивной и элементарной схеме, которой придерживались наиболее топорные из русских романистов 70-х годов — Шеллер-Михайлов, Бажин, Омулевский<sup>17</sup> и другие. Как я узнал впоследствии, роман этот был написан под влиянием Степняка-Кравчинского<sup>18</sup>.

А когда «Всемирная литература» затеяла собрание сочинений Оскара Уайльда и я дал к этому изданию вступительный очерк (вышедший через несколько лет отдельной брошюрой), Горький прислал мне такое письмо:

«Дорогой Корней Иванович, как все у Вас, — статейка об Уайльде написана ярко, убедительно — и как всегда у Вас — очень субъективно. Я отнюдь не решаюсь навязывать Вам моего отношения к делу, но — убедительно прошу Вас помыслить вот о чем: Вы неоспоримо правы, когда говорите, что парадоксы Уайльда — “общие места навыворот”, но не допускаете ли Вы за этим стремлением вывернуть наизнанку все “общие места” более или менее сознательного желания насолить миссис Гренди\* и пошатнуть английский пуританизм?

\* *Миссис Гренди* — собирательный образ английской ханжи.

Мне думается, что такие явления, каковы Уайльд и Б[ернард] Шоу, слишком неожиданны для Англии XIX века и в то же время они — вполне естественны — английское лицемерие наилучше организованное лицемерие, и полагаю, что парадокс в области морали очень законное оружие борьбы против пуританизма.

Полагаю также, что Уайльд не чужд влиянию Ницше.

Моя просьба: прибавьте к статье одну, две главы об английском пуританизме и попытках борьбы с ним!

Весьма прошу Вас об этом, считая сие необходимым (свяжите Уайльда с Шоу и предшествовавшими им вроде Дженкинса<sup>19</sup> и др.).

Извиняюсь за то, что позволил себе исправить некоторые описки в тексте статьи. Жму руку.

А. Пешков».

Замечательна в этой рецензии ее деликатность. Советуя мне исправить и дополнить написанную мною статью, он с первых же строк заявляет с величайшей скромностью, что «не решается навязать мне свое отношение к делу». А выправив в тексте статьи ее стилистические и всякие другие погрешности, он извиняется, что «позволил себе исправить» некоторые допущенные мною описки. Описками он назвал их опять-таки в силу своей деликатности: то были не описки, а ошибки.

Я не во всем был согласен с его отзывом об Оскаре Уайльде. При встрече я не без робости заявил ему о своем несогласии. Едва ли мне удалось убедить его, но он предоставил мне полную свободу суждений, потому что в совместной работе был необыкновенно терпим и уступчив, если дело не касалось основных его мыслей.

Вот и еще записка от Алексея Максимовича, относящаяся к тому же периоду:

«Корней Иванович! Посылаю Вам книгу, которую хвалят. Если Вы согласитесь с этим, т. е. признаете достойной перевода, — отдайте перевести. Всего доброго.

А. Пешков».

Записка опять-таки замечательна своей деликатностью. Щадя писательское самолюбие каждого из работавших с ним литераторов, он принимал усиленные меры, чтобы кто-нибудь из нас не подумал, будто он давит нас своим авторитетом, навязывает нам свои суждения. Чуть не в каждом письме он всякий раз оговаривается, что никакого императивного характера высказывания его не имеют.

Странно, что до сих пор у нас не изданы многие книги, которые Горький настойчиво рекомендовал для издания.

Посылая мне вырванный из какого-то журнала роман Рэкса Бича «Хищники», он в своей краткой записке отозвался о нем так:

«Очень интересный роман, кинематографически живо рисующий быт золотоискателей.

Если к нему добавить статью об Аляске, будет довольно полезная книга.

Перевод отчаянно плох и требует серьезнейшей редакции».

Тут же он указывал, каково должно быть содержание этой статьи об Аляске:

«Аляска: География. — История продажи ее Россией Соединенным Штатам Северной Америки. — Разработка золотоносных жил. — Законоположения. — Быт».

Много усилий было потрачено каждым из нас на составление списка тех книг, какие должны были в ближайшую очередь печататься в нашем издательстве. Эти списки Горький принимал очень близко к сердцу: он мечтал, что они воплотятся в сотнях и тысячах книг, предназначенных для приобщения новых, советских читателей к культуре всего человечества. Мне было поручено составить перечень наиболее замечательных книг, которые вышли за последнее столетие в США и Англии. Перечень этот мы долго обсуждали всей коллегией, при ближайшем участии Алексея Максимовича, а когда он был закончен и отдан в печать, Алексей Максимович взял его снова к себе, чтобы еще раз обдумать. И через несколько дней прислал мне такую записку:

«Корней Иванович! Нужен ли “Сартор Резартос”? \*

Перевод этой книги есть, она не разошлась в русском издании, читается трудно.

Не много ли Теккерей?

“Базар житейской суеты” и “Ньюкомы” очень тяжелые книги. Они требуют 8 томов нашего издания.

У Барри<sup>20</sup> есть хорошая вещь “Леди Никотин”. Не следует ли ввести ее?

Достаточно ли одной книги Холл Кейна?<sup>21</sup> У него недурной роман “Христианин”, кажется?

Нужно несколько рассказов Джерома для брошюр.

Вот все, что могу сказать по поводу Вашего списка.

А. П.».

\* «Сартор Резартос» — философский трактат Томаса Карлейля, написанный очень трудным языком.

И здесь он меньше всего предъявляет мне какие бы то ни было требования. Это пожелания, советы — и только.

Величайший литературный авторитет, он в разговоре с писателями о редакционных делах был гораздо более учтив и уступчив, чем иной из служащих в «аппарате» издательства.

Не все из рекомендуемых Алексеем Максимовичем книг представлялись мне достаточно ценными. Я возражал против включения их в список, он охотно принимал мои возражения. (Я тогда же подметил, как любит он, чтобы ему возражали.) Я без труда отказался от карлейлевского «Сартора Резартоса», но Теккерей отстаивал с упрямством — и заметил, что это упрямство ему по душе. Списки, составленные нами по указаниям Горького, впоследствии легли в основание всей работы издательства «Academia», которое в значительной мере осуществило созданную Горьким программу.

Но как осуществить эту программу, если хороших переводчиков мало, а главная их масса невежественна, бездарна, неряшлива? Это не на шутку тревожило Алексея Максимовича. Ведь издательству предстояло в кратчайшие сроки перевести — и не как-нибудь, а с наибольшим искусством — сотни и сотни томов греческих, турецких, английских, французских, шведских, испанских, арабских, индийских писателей. Тут требовались обширные кадры квалифицированных мастеров-переводчиков. Но кадров этих не было, и их предстояло создать. Правда, существовали поэты, переведшие на русский язык (и порою блистательно!) того или иного из зарубежных поэтов: кто Эдгара По, кто Верхарна, кто Вердена, кто Лопе де Вега, кто Гейне, но большинство из этих мастеров перевода в то время уже явно сходило со сцены — и, кроме того, все это были солисты, не приспособленные для коллективной работы.

Горький пробовал привлечь к делу перевода таких «посторонних», как Кони, Амфитеатров, Потапенко<sup>22</sup>, Ремизов, но попытка ни к чему не привела.

В довершение бедствия в Питере вдруг обнаружилось множество лиц, вообразивших себя переводчиками: бывшие князья и княгини, бывшие фрейлины, бывшие пажи, лицеисты, камергеры, сенаторы — вся бывшая петербургская знать, выброшенная революцией за борт. Эти люди осаждали нас изо дня в день, уверяя, что именно им надлежит поручить переводы Мольера, Вольтера, Стендаля, Бальзака, Анатоля Франса, Виктора Гюго, так как благодаря гувернанткам и боннам они с младенчества умеют свободно болтать по-французски.

Напрасно Горький, которого все эти люди окружали особенно тесным кольцом, терпеливо доказывал им, что переводить гениальных писателей может только первоклассный стилист, ибо художественный перевод — это большое искусство, доступное лишь мастерам своего (главным образом своего) языка, они так навязчиво приставали к нему, что в конце концов он, уступая их натиску, давал им «на пробу» перевести несколько страниц какого-нибудь французского автора, и всегда получался вопиющий конфуз.

На кого же могло опереться издательство? Лишь на очень немногих профессиональных, цеховых переводчиков. Но и те работали, так сказать, на «ура», наобум, без руля и ветрил, руководствуясь не столько научными принципами, сколько слепым интуитивным чутьем. Поэтому Горький поставил перед нами задачу: переквалифицировать всю эту «серую массу», поднять ее литературный и умственный уровень и внушить ей повышенное чувство ответственности. По предложению Алексея Максимовича было поручено профессору Батюшкову, поэту Гумилеву и мне сделать в нашей коллегии доклад, где были бы сформулированы хотя бы в самых общих чертах те минимальные требования, каким в настоящее время должен удовлетворять перевод, притязающий на почетное именование художественного<sup>23</sup>. Наши доклады вызвали многодневные прения, в которых участвовали академик И. Ю. Крачковский, Александр Блок, профессор Ф. А. Браун<sup>24</sup> и др.

Из моего доклада выросла впоследствии книжка «Искусство перевода» («Высокое искусство»), в составлении которой Алексей Максимович принимал живейшее участие. У меня сохранилось первое издание этой книжки — вернее, брошюры (она называлась тогда «Принципы художественного перевода»), с рукописными поправками Алексея Максимовича. В ней я, между прочим, рекомендовал переводчикам почаще читать Даля, Лескова, Мельникова-Печерского, Глеба Успенского. Мой совет не понравился Горькому, и он написал на полях:

«Совет — опасный. Лексиконы Даля, Успенского, Лескова прекрасны, но представьте себе Виктора Гюго, переданного языком Лескова, Уайльда на языке Печерского, Анатоля Франса, изложенного по словарю Даля. Русификация иностранцев (в переводной литературе) и без того является серьезным несчастьем».

В одном из последующих изданий этой книжки я, конечно, переделал весь указанный абзац, чтобы даже против воли не способствовать тем «серьезным несчастьям», о которых сигнализировал Горький. Уже после того, как эта книжка была на-



печатана под названием «Искусство перевода», он прислал мне из Сорренто такое письмо:

«...вполне своевременно переизданная книжка об “Искусстве перевода”, очевидно, не влияет на переводчиков, они свирепствуют, как привыкли:

“Дезертиры (?) и маорисы — дикие племена Новой Зеландии”; “Они пустились через шею острова”; “Захотел сам с собою”; “Только тут он заметил, что прошел мимо себя, и, быстро возвратясь, позвонил в дверь”, — черт их возьми! В романе Р. Бенжамена “Жизнь Бальзака” Жоффруа Сент-Иллер — Жоффруа Святой Иллер!» \*

Сам он во времена «Всемирной литературы» всячески боролся за повышение квалификации переводческих кадров. Взяв у меня чьи-то переводы рассказов английского писателя Джекобса<sup>25</sup>, он тщательно выправил эти переводы и прислал мне такую записку:

«Все рассказы испещрены глаголом *говорить* в настоящем времени, — что дает читателю право упрекнуть переводчика в небрежности или безграмотности.

Кроме “говорит” можно употреблять формы “сказал”, “заметил”, “отозвался”, “откликнулся”, “повторил”, “молвил”, “воскликнул”, “заявил”, “дополнил”».

При издательстве была создана Студия художественного перевода (на Литейном проспекте, в бывшем доме Мурузи<sup>26</sup>). В Студии читались лекции Михаилом Лозинским, Евгением Замятиным, Николаем Гумилевым, Андреем Левинсоном и многими другими. С переводчиками — молодыми и старыми — велись практические занятия, на которых в первое время нередко присутствовал Горький.

В день открытия Студии он обратился к слушателям с посланием, которое я и прочитал им, по его просьбе, перед началом занятий.

«Мне кажется, — писал Горький, — что в большинстве случаев переводчик начинает работу перевода сразу, как только книга попала ему в руки, не прочитав ее предварительно и не имея представления об ее особенностях.

Но и по одной книге, — даже в том случае, если она хорошо прочитана, — нельзя получить должного знакомства со всей сложностью технических приемов автора и его словесных капризов, с его музыкальными симпатиями и характером его фразы — со всеми приемами его творчества» и т. д.

\* Частицу фамилии «Сент» невежественный переводчик воспринял как французское слово «святой».

Заканчивалось послание так:

«И может быть, “Студия всемирной литературы” найдет возможным остановить внимание свое на мыслях, изложенных здесь и, как все мысли, подлежащих критике».

Вот еще одна записка Алексея Максимовича — по поводу «Давида Копперфильда» в переводе Иринарха Введенского<sup>27</sup>. Введенский был небрежным переводчиком. В его «Давиде Копперфильде» немало отсебятины и ошибок. Но так как он был очень талантлив и отлично воспроизводил самый стиль великого писателя, я сделал попытку исправить его перевод, причем мне было важно узнать, не вносят ли мои обильные поправки стилистического разнобоя в переработанный текст. Алексей Максимович в своей краткой записке развеял мои опасения.

«К[орней] И[ванович]! Я не могу прийти сегодня — ненормальная температура и кровь.

В переводе Диккенса не усмотрел заметных разноречий между Введенским и Чуковским: ваша работа очень тщательна. Вот все, что могу сказать по этому поводу.

Несколько неловкостей выписаны на отдельном листке, вложенном в книгу... Жму руку.

А. Пешков».

Как известно, у Диккенса есть два романа, где в самом комическом виде он выводит своих родителей. Я написал об этом в своем предисловии к роману «Николас Никльби», на страницах которого Диккенс высмеял родную мать, придав забавные черты ее личности скудоумной матери героя.

«Может быть, следует, — хотя бы для разнообразия, — писал мне Горький по этому поводу, — указать в том месте предисловия, где говорится о матери Д[иккенса] и об отце его, — на то, что для искусства нет ничего запретного — ни матерей, ни отцов, ни бога, ни любимой женщины и что зоркие очи таланта видят смешное и уродливое в самом близком, дорогом...»

### III

Столько души вкладывал он в будничную, мелочную работу, что у него не хватало минуты для творчества. А между тем «Всемирная литература» в ту пору была для него далеко не единственным делом. Вскоре он затеял обширную организацию Дома ученых и создал ряд театральных и литературных предприятий, к участию в которых привлек и нас, «всемирных ли-

тераторов». Часто бывало так, что до заседания «Всемирной» мы заседали с ним в качестве «Правления Союза художественных деятелей» или в качестве «Секции исторических картин», а после заседания «Всемирной», не сходя с места, превращались (за тем же столом) в «Высший совет Дома искусств», и во всех этих организациях Горький опять-таки не только председательствовал, но и делал черную работу, отнимавшую у него столько часов, что зачастую было непонятно, когда же выкраивает он время для сна и еды.

При такой нечеловеческой нагрузке он за все эти три года ни разу не дал себе отдыха.

Хотя в девятнадцатом году он и раздобыл дачи для писателей на Ермоловке, близ Сестрорецка, и сам одно время хотел поселиться на даче, но так захопотался с Домом ученых, что ни разу за все лето не покинул раскаленного города. На следующее лето то же самое: хотел уехать в Павловск на три дня, но произошли какие-то пертурбации в Доме ученых, и он остался в Петрограде, — так и трех дней не отдохнул за весь год.

Однажды он задал нам задачу: составить для издательства Гржебина список «Ста лучших русских книг, вышедших в девятнадцатом веке». Обсуждение этого списка вызвало у нас много споров.

Когда заговорили о Загоскине и Лажечникове<sup>28</sup>, Горький сказал:

— Не люблю. Плохие Вальтеры Скотты.

Когда заговорили о Василии Слепцове<sup>29</sup>, к которому Горький всегда относился с любовью, он вспомнил, что Лев Толстой, читая один из слепцовских рассказов («Ночлег»), отозвался о сцене на печи:

— Похоже на моего «Поликушку», только у меня хуже.

Знания Горького оказались и в этой области больше тех, какие мы предполагали у него. Кто-то, например, упомянул о «малоизвестном писателе» Вельтмане<sup>30</sup>. Обнаружилось, что Горький не только превосходно знаком с этим «малоизвестным писателем», но помнит даже, в котором году в «Отечественных записках» появился роман его жены или дочери Елены Вельтман «Приключения Густава»<sup>31</sup>. Оказалось, что никто из нас романа не читал. На следующий день Горький принес эту книгу и подарил мне:

— Стоящая книга. Солидная. Привлечен большой исторический материал...

В другой раз принес Замятину «Владимирку и Клязьму» Слепцова:

— Прочтите! Капитальная вещь — и чертовски талантливая!

У большинства самоучек знания поневоле клочковатые. Сила же Горького заключалась именно в том, что все его литературные сведения были приведены им в систему. Никаких случайных разрозненных мнений его ум вообще не выносил, он всегда стремился к классификации фактов, к распределению их по разрядам и рубрикам. Во время совместной работы над списками русских писателей я убедился, что Горький не только лучше любого из нас знает самые темные закоулки русской литературной истории (знает и Воронова, и Платона Кускова, и Сергея Колошина!<sup>32</sup>), но до тонкости разбирается в «течениях», «направлениях», «веяниях», которые и делают историю литературы историей. Байронизм, натурализм, символизм — вообще всевозможные «измы» были досконально изучены им.

Как это ни странно, некоторых тогдашних писателей даже раздражала огромная его эрудиция. Один из них говорил мне еще до того, как я познакомился с Алексеем Максимовичем:

— Думают: он — буревестник... А он — книжный червь, ученый сухарь, вызубрил всю энциклопедию Брокгауза, от слова «Аборт» до слова «Цедербаум».

Эти люди не хотели понять, что первым истинно революционным поэтом может быть лишь писатель величайшей культуры, образованнейший человек своего поколения, что одного «нутра», одной «стихийности» здесь недостаточно.

Книг он читал сотни по всем специальностям — по электричеству, по коннозаводству и даже по обезболиванию родов, — и нас всегда удивляло не только качество усваиваемых им элементов культуры, но и количество их. В день он писал такое множество писем, сколько иной из нас не напишет в месяц. А сколько он редактировал журналов и книг! И как самоотверженно он их редактировал! К стыду моему, должен сказать, что, когда в шестнадцатом году один начинающий автор принес мне свое сочинение, написанное чрезвычайно безграмотно, я вернул ему его рукопись как безнадежную. Он снес ее к Горькому. Горький сказал мне через несколько дней:

— Свежая, дельная, хорошая вещь.

Я глянул в эту рукопись: почти каждая строка оказалась зачеркнутой, и сверху рукою Горького написана новая.

— Жаден я на редактуру! — сказал Горький кому-то при мне.

Эта жадность доходила порою до страсти; всякую книгу, какая попадалась ему на глаза, он хотел не только прочитать, но по возможности переделать, исправить. Красно-синий каран-

даш был у него всегда наготове, и я видел в двадцатом году, как он, читая только что полученное от одного литератора ругательное письмо, написанное сумбурным, неврастеническим словом, машинально выправил это письмо: ругательства остались, но запутанная фразеология заменилась отчетливой.

Даже когда читал он газеты, он, сам не замечая того, нет-нет да и поправит карандашом не понравившийся ему оборот в мелкой репортерской заметке — до такой степени его творческой личности было чуждо пассивное отношение к читаемому.

Как-то он взял у меня грузную рукопись — чьи-то переводы рассказов английского писателя Джерома. Я просил его бегло перелистать их, не годятся ли они для «Всемирной». Он же тщательно отделал всю рукопись, всю испещрил ее своими поправками, а в конце написал:

«Не годится».

#### IV

30 марта 1919 г. мы, «всемирные литераторы», праздновали в тесном кругу 50-летие Горького\*. Бокалы для шампанского были налиты чаем (без сахара), каждый участвующий получил по роскошной лепешке величиной с пятак.

Присутствовало человек сорок — не больше. В том числе Александр Блок, Гумилев, Федор Батюшков, Евгений Замятин, Аким Волынский, Андрей Левинсон, Александр Тихонов (Серебров), а также рабочие из типографии.

Чествование вышло задушевное. Александр Блок записал в мою «Чукоккалу»:

«Сегодняшний юбилейный день Алексея Максимовича светел и очень насыщен — не пустой день, а музыкальный».

Но к концу этого «музыкального» дня Горький вдруг вспыл и разгневался и стал вести себя совсем не юбилейно.

Дело в том, что профессор Батюшков, милый и почтенный человек, имел очень простительную слабость: любил произносить юбилейные речи писателям, причем каждому юбиляру всегда говорил главным образом о гуманности его произведений, о его нежной любви к падшим и униженным людям.

---

\* Хотя Горький родился в 1868 году, датой его рождения в ту пору ошибочно считался 1869 год. См. репортерский отчет в газете «Жизнь и искусство», 1919, № 109 от 2 апреля: «Литературное чествование Максима Горького».

С такой речью он обращался когда-то и к Мамину-Сибиряку, и к Короленко и теперь обратился к Горькому.

Алексей Максимович слушал его терпеливо, но когда оратор, ссылаясь на горьковскую пьесу «Старик», стал восхвалять героя этой пьесы, утверждая, будто Горький озарил своего старика каким-то «ласковым и кротким сиянием», Горький сердито встал, перегнулся через стол и сказал, сильно ударяя на «о»:

— Позвольте, позвольте... Прошу прощения... Это не так... Да, не так. Униженных и падших я терпеть не могу. А этого старика не-на-ви-жу.

Через минуту Горький смягчил свою резкость улыбкой, но Батюшков сконфуженно потупил глаза и еле досказал свою речь.

Никогда в жизни, ни раньше, ни после, я не видел, чтобы юбиляр полемизировал с теми, кто пришел славословить его, но никакие юбилеи не могли помешать Алексею Максимовичу громко осудить ту идею, которая была враждебна ему.

Домой я возвращался с группой типографских рабочих. Рабочие шли и смеялись.

— Здорово он отбрил этого старичка! — говорили они. — Так и сказал ему прямо в лицо: «Я тебя, милый друг, ненавижу!»

В их представлении Батюшков и был тот старик, о котором Горький говорил с такой ненавистью.

Ненависть Горького была вызвана либеральным гуманизмом профессора. Горький в то время не раз говорил, что эра дряблого гуманизма христианской Европы закончилась, что этот гуманизм разоблачен и дискредитирован всеми событиями нашей эпохи.

На ближайшем заседании Горький рассказал мне тихим шепотом, что по случаю его 50-летия один заключенный прислал ему из тюрьмы такое прошение:

«Дорогой писатель!

Не будет ли какой амнистии по случаю вашего тезоименитства? Я сижу в тюрьме за убийство жены, убил ее на пятый день после свадьбы за то, что она (тут следовали очень откровенные подробности)... Так нельзя ли мне устроить амнистию?»

Таких писем получал он много. В 1920 году он получил телеграмму от неизвестного ему человека:

«Максиму Горькому.

Сейчас у меня украли на станции Киляево две пары брюк и 16 000 рублей денег».

Через неделю после юбилея Александр Блок читал на квартире у А. Н. Тихонова (Сереброва) доклад о роли гуманизма в современной культуре. Доклад был по поводу Гейне, и в нем говорилось, что теперь «колокол антигуманизма громче и звучнее, чем прежде»<sup>33</sup>. Горький очень взволнованно слушал, а потом, обращаясь к Блоку, сказал:

— Я человек бытовой, и, конечно, мы с вами люди разные, и вы удивитесь тому, что я скажу, но мне тоже кажется, что гуманизм, именно гуманизм в христианском смысле, должен полететь ко всем чертям...

На заседаниях «Всемирной литературы» с теми, кто высказывал враждебные Горькому взгляды, он старался быть бесстрастным и терпимым. Споря с ними, он постоянно уснащал свою речь всевозможными учтивыми фразами: «Я позволю себе заметить», «Я позволю себе указать». Но эта учтивость давалась ему нелегко. Если кто-нибудь высказывал суждения, представляющиеся ему вопиюще неверными, он с трудом обуздывал свой гнев и в течение всей речи противника нетерпеливо стучал своими тяжелыми пальцами по столу — то быстрее, то медленнее, будто исполнял на рояле дьявольски трудный пассаж, и лишь изредка отрывался от этой работы, чтобы сердито закрутить свой рыжий ус. А если неприятная речь тянулась дольше, чем он ожидал, он схватывал лист бумаги и с яростной аккуратностью, быстро-быстро разрывал его на узкие полосы и делал из каждой полосы по кораблику. Раз! Раз! Раз! Раз! Восемь корабликов — целый флот.

Если же оратор не замолчит и тогда, расщипав пальцы хватая из пепельницы груды окурков и сокрушительно вдавливая каждый окурочек в корабль, словно расправляясь с ненавистным оратором.

Я сохранил один из таких корабликов, вклеив его в свою «Чукоккалу».

В самом начале двадцатых годов в Петрограде возникла группа начинающих юных писателей — «Серрапионовы братья»<sup>34</sup>. Горький дружески сблизился с ними и, как мог, помогал им работать. Задача у него была большая: сплотить этих будущих писателей на общей работе для новых читательских масс. Вскоре у него возникла мысль напечатать сборник их стихов и рассказов. Сборник должен был называться «1921 год».

Я часто видел их вместе — этих юных литераторов и Горького. Разговоры у них шли непринужденные, товарищеские, причем Горький с большой осторожностью применял к ним свою «педагогику». Один из таких разговоров, происходивший

на Кронверкском<sup>35</sup>, я записал слово в слово и приведу его здесь, так как он кажется мне очень характерным для тональности тогдашних отношений Алексея Максимовича к этой писательской группе.

— Какого я слышал вчера куплетиста, — сказал Горький, — талант. Даже потеет талантом. Пел, между прочим, такие стишки:

Анархист в сенях сташил  
Полушалок теткин.  
Ах, тому ль его учил  
Господин Кропоткин?<sup>36</sup>

Федин, вернувшийся тогда из Москвы, рассказал, что в Москве его поразило, как мужик влез в трамвай с оглоблей. Все кричали, возмущались, а он — никакого внимания.

— И не бил никого? — спросил Горький.

— Нет. Приехал куда надо, прошел через вагон и вышел с передней площадки.

— Хозяин! — сказал Горький.

Заговорили о крестьянах. Федин очень живо изобразил замученную городскую девицу, которая, изголодавшись в городе, приволокла в деревню мануфактуру и деньги, чтобы обменять на съестное. «Деньги? — сказала ей баба в первой же избе. — На что мне твои деньги? Поди-ка сюда. Сунь руку. Сунь, не бойся! Глубже, до дна. Вся кадка у меня ими набита, и каждый день муж играет в очко и выигрывает тысяч сто—сто пятьдесят».

Девица была в отчаянии, но улыбнулась. Баба заметила у нее золотой зуб сбоку. «Что это у тебя такое?» — «Зуб». — «Золотой?» — «Золотой». — «Что ж ты его сбоку спрятала? Выставила бы спереди. Нравится мне этот зуб, я бы тебе за него картошки сколько хочешь дала...» Девица взяла вилку и выковыряла зуб. Баба сказала: «Ступай вниз. Набери картошки, сколько хочешь. Сколько поднимешь». Та навалила много, но поднять не могла. Баба равнодушно: «Ну, отсыпь».

Горький на это сказал:

— Вчера я иду домой. Вижу, в окне свет. Глянул, сидит человек и ремингтон<sup>37</sup> починяет. Очень углублен в работу, лицо освещено. Подошел какой-то бородатый. Тоже стал глядеть и вдруг: «Сволочи! Чего придумали? Мало им писать, как все люди, так и тут машину присобачили. Сволочи!»

Такая «посторонняя» беседа длилась довольно долго. И лишь после того, как благодаря ей создалась атмосфера душев-



ной близости, душевного уюта, Горький заговорил о рассказах, написанных этой молодежью для сборника, то есть о том, ради чего вся она собралась у него. Сборник должен был выйти под редакцией Алексея Максимовича.

— Позвольте поделиться моим мнением о сборнике. Не в целях дидактических, а просто так, потому что я никогда никого не желал поучать. Начну с комплиментов. Это очень интересный сборник. Впервые такой случай в истории литературы: писатели, еще никогда не печатавшиеся, дают литературно значительный сборник. Любопытная книга, всячески любопытная. Мне, как бытовому, очень дорог ее общий тон. Очень сильно и правдиво. Есть какая-то история в этом, почти физически ощутимая, живая и трепетная. Хорошая книга.

Тут Горький заговорил о том, что в книге, к сожалению, нет героя, нет человека.

— Человек предан в жертву факту. Но мне кажется, не допущена ли тут — в умалении человека — некоторая ошибка? Кожные раздражения не приняты ли за нечто другое? Ведь и при коллективизме роль личности оказалась огромной. Например, Ленин. А у вас герой затискан. В каждом данном рассказе недостаток внимания к человеку, а в жизни человек все-таки свою человеческую роль выполняет...

Дальнейшие слова Алексея Максимовича я, к сожалению, не мог записать, так как, заметив у меня в руке карандаш и узнав, что я записываю его слова для потомства, он подошел ко мне и сердито сказал:

— Я и сам немного умею писать. Что будет нужно, я и сам кое-как напишу.

Я готов был провалиться сквозь землю и только лет десять спустя узнал, что при таких обстоятельствах Алексей Максимович обрушивался не на меня одного.

В его семье долгое время проживал живописец Иван Николаевич Ракитский, скромный, чистосердечный, молчаливый, услужливый. Этот Ракитский (или, как звали его в семье, Соловей) вел очень подробный дневник, где записывал высказывания Горького о разных книгах, событиях, людях, вещах, так что у него собралось несколько драгоценных тетрадей.

Зайдя как-то к Ракитскому в комнату и увидя у него эти тетради, Алексей Максимович с негодованием потребовал, чтобы Ракитский немедленно бросил их в печку, и тот, испытывая мучительную душевную боль, беспрекословно подчинился требованию Алексея Максимовича. Ему было ясно, что здесь не каприз, а принципиальное нежелание фигурировать в роли

оракула, чьи изречения записываются в назидание грядущим векам.

Все это поведал мне сам Соловей, а семья Горького подтвердила его грустный рассказ.

## V

Я познакомился с Горьким за два года до возникновения «Всемирной литературы» — 21 сентября шестнадцатого года. Мы встретились на Финляндском вокзале для совместной поездки к Репину. В вагоне он был пасмурен, и его черный костюм казался трауром. Чувствовалось, что война, которая была тогда в полном разгаре, томит его как застарелая боль. В то время он редактировал «Летопись» — единственный русский легальный журнал, пытавшийся протестовать против войны.

До обеда мы сидели у Репина в мастерской — Репин взял небольшой «крупнозернистый» холст и стал писать Горького в профиль. Горький ни минуты не сидел спокойно, вертелся и все время рассказывал разные истории — то смешные, то трогательные.

Заговорили почему-то о любви, и он рассказал, между прочим, о грозном нижегородском сатрапе генерал-губернаторе Баранове.

— Все боялись его... вор и злодей... И вот, оказывается, по утрам на рассвете в переулочке у него свидание с красивой женой пивовара... Сам высокий, она низенькая... так вдоль забора и гуляют... Она смотрит на него любовно снизу вверх, а он сверху вниз... а я из-за забора гляжу и люблюсь... А то еще смотритель тюрьмы... мордобоец... Знаменитый в Нижнем душегуб... поднимет, бывало, воротничок... и к швейке. Швейка со мной по соседству, за перегородкой, в гнуснейшем доме живет. Он к ней и тихо, спокойно Лермонтова ей декламирует:

Печальный демон, дух изгнанья...

Гости у Репина были случайные: какие-то молчаливые прапорщики, адвокат из Казани, костлявая певица из Киева. Зашел разговор о войне. Оказалось, все они жаждут «войны до победы». Горький слушал их сумрачно, а когда они, наконец, замолчали, стал медленно и монотонно говорить об ужасах затеянной империалистами бойни:

— Сколько полезнейших мозгов разбрызгивается зря по земле каждый день... французских, немецких, турецких... да и наших, тоже не дурацких...

Пошли обедать. Среди гостей был худосочный поручик, только что вернувшийся с фронта. Он слушал Горького спокойно и учтиво. И вдруг его словно прорвало: он ни с того ни с сего, не глядя на Горького, судорожно и напряженно заговорил о том, что наши французские союзники доблестны и наши английские союзники доблестны... И Россия, давшая миру Петра Великого, Пушкина, Репина, должна быть грудью защищена и т. д.

— Этот человек, — сказал Горький, — кажется, воображает, будто я команду немецкой армией.

Поручик почему-то вспылал, неожиданно для всех и, кажется, для самого себя, вскочил из-за стола, подбежал к Алексею Максимовичу и, зажмурив глаза, замахнулся, как бы собираясь ударить. Его удержали. Он стал фальцетом выкрикивать, что Горький пораженец, предатель, агент кайзера Вильгельма II. Репин был в отчаянии, но Горький только усмехнулся угрюмо:

— Ничего, Илья Ефимов, я привык!

Врагов у него всегда было вдоволь, и это внушило ему спокойную гордость. В тот же вечер в своей квартире на Кронверкском он дал мне широкий конверт, на котором его рукой было написано: «Читатель отвечает». В конверте были письма, сплошь ругательные. К ним было приложение — петля из тончайшей веревки. Такая тогда установилась среди черносотенцев мода — посылать «пораженцу» Максиму Горькому петлю, чтобы он мог удавиться. Некоторые петли были щедро намылены. Получив подобное письмо, Горький надевал свои простенькие в серебряной оправе очки и читал его тщательно, от слова до слова (получаемые письма он никогда не рассматривал бегло, а вчитывался в каждую букву, подчеркивая красно-синим карандашом наиболее выразительные строки).

У «Летописи» были в ту пору частые препирательства с военной цензурой. В один из тех же сентябрьских дней Алексей Максимович пошел объясняться к начальнику цензурного ведомства. Начальник не знал, что перед ним Горький, и с большим раздражением, даже не пригласив его сесть, выслушал его резкие отзывы о цензоре «Летописи».

— Неумный... да, неумный господин, — говорил об этом чиновнике Горький.

— Как вы смеете! — рассердился начальник.

— Потому что это правда, сударь.

— Я вам не сударь, а ваше превосходительство.

Горький закашлялся и сквозь кашель отрывисто, но отчетливо выговорил:

— Идите, ваше превосходительство, к черту.

Начальнику шепнули, что его посетитель Горький, и он заулыбался почтительно. Кашель у Горького стал еще более удушливым, но, сотрясаемый кашлем, он делал те же непримиримые жесты:

— Идите, ваше превосходительство, к черту!

## VI

В 1920 году Горький предложил мне подготовить к печати собрание моих критических статей и взялся редактировать их.

Составив тщательно разработанный план первого тома собрания моих сочинений, он написал мне в обширном письме:

«Вот как рисуется мне первая книга. Думаю, что в этом виде — с некоторыми поправками и чисткой текста — у нее есть начало, продолжение — очень содержательное — и логический конец... Очень советую издать отдельной книгой у Белопольского<sup>38</sup> в издательстве “Северное сияние” —

“Детский язык” и  
“Лидия Чарская”.

Об этом издании с Белопольским могу поговорить я».

Почти о каждой моей статье о Сергееве-Ценском<sup>39</sup> он пишет:

«Мысль: “Ценский не был бы русский писатель, если бы умел прославить дельца”, верна, великолепно, ее надо немного развить... Лескова, прославляющего дело и дельца, не читают, не знают».

По поводу моей статьи о Короленко:

«“Теперь, когда в душе у каждого гимназиста Апокалипсис” — это очень глубокая, страшно верная мысль, крайне жалко, что вы ее бросили без призора, без развития, точно робкая девица “незаконнорожденного” ребенка. А ведь ребенок-то наизаконнейше рожден, заслуживает нежнейшего ухода, внимательного воспитания. От этой мысли во все стороны — на всю книгу — сверкает свет, освещающий все и всех. Считаю, — убежден, что положительно необходимо закончить книгу именно развитием этой мысли, — вы, конечно, понимаете, какой она от сего приобретает глубокий исторический интерес».

В том же письме Горький подсказывает мне важную мысль о разрыве Короленко с народниками:

«Право же, следовало бы вам отметить одну крупную — может быть, великую заслугу Короленко пред всеми нами: он первый с поразительной ясностью дал *тип* великорусского мужика, исторически сложившийся тип, это — Тюлин — “Река играет”... Короленко смотрит на великорус-

скую жизнь глазами человека несколько иной культуры, поэтому он и разглядел Тюлина так великолепно верно. Без Тюлина невозможны “Мужики”, “В овраге” (Чехов), невозможны рассказы Бунина. Тюлин — осторожный, но решительный разрыв с традициями народнических акафистов мужику».

Все эти советы и подсказы чрезвычайно типичны для Горького. Каждую чужую статью, в которой находил он проблеск достоинств, старался он обогатить и дополнить своими образами, своими идеями. Он рад был сотрудничать с каждым из нас в качестве, так сказать, мелиоратора наших работ.

Так были отремонтированы Горьким три мои книги, и нужно сказать, что ни один критик, ни один рецензент не затратил на них столько души, сколько затратил загруженный огромной работой, больной и переутомленный Горький.

Но не следует думать, что мы, писатели, получали от него одни лишь хвалебные письма. Для оценки наших литературных работ у него был единственно твердый критерий: интересы советских читателей, и если ему казалось, что мы наносим этим интересам ущерб, он чувствовал себя вынужденным высказывать нам самую жестокую правду.

Однажды — это было значительно позже — он обратился ко мне с предложением дать для журнала «Литературная учеба» статью «Как Некрасов учился писать». А я, как нарочно, незадолго до этого разыскал в старых изданиях и рукописях несколько блистательных пародий Некрасова на Жуковского, Языкова, Бенедиктова, Фета, и мне показалось, что я воочию вижу, как путем пародирования своих знаменитых предшественников молодой Некрасов учился владеть их поэтической техникой и таким образом преодолевал их влияние. Мне почудилось, что эти ученические опыты в разработке чужих литературных приемов были для самоучки Некрасова отличной школой на пути к созданию самобытного стиля. Я изложил эти мысли в довольно элементарной статье, которую послал Алексею Максимовичу. Велико было мое огорчение, когда я получил от него из Италии неодобрительное, сухое письмо:

«Оба ваших совета: подражать классикам и учиться на пародиях, могут возбудить некоторое “смятение умов”. Гораздо полезнее учиться у классиков, чем подражать им и заимствовать у них. Второй совет “пародировать” может понудить некоторых начинающих к бесполезной трате времени на поиски нелепого набора словечек, вроде:

Верзилу Вавилу бревном придавило.

Но для того, чтобы даже такие словечки подбирать, нужно быть Измайловым<sup>40</sup>. Затем: что же, начинающие поэты друг друга пародировать будут? Взаимоотношения их и без того не радуют».

Огорченный этим отзывом Алексея Максимовича, я послал ему большое письмо, пытаюсь защитить и обосновать свое мнение. Но письмо не убедило его.

«С вашим утверждением, — писал он в ответ, — что “подражание и есть один из методов самообучения”, мне очень трудно согласиться, несмотря на факты, вами приведенные. Гоголь подражал Марлинскому<sup>41</sup>, но он пошел Гоголем, — мне кажется, — уже после того, как перестал подражать. И вообще, подражание едва ли учит, а что оно — порабощает, это бесспорно. Сейчас добрые три четверти молодой литературы нашей — подражательны. А вот на днях я прочитал книгу Пасынкова “Тайна”<sup>42</sup> — какая свежая, независимая вещь! Нет, я против подражания, особенно в той его догматической, — а вовсе не “прагматической” форме, как Вы его утверждаете».

Я пробовал переделывать эту статью, но он так и не напечатал ее.

Впоследствии выяснилось, что, по существу, он не оспаривал правильности моих наблюдений над творческими путями Некрасова, но не желает, чтобы подобные наблюдения превращались в рецепты для начинающих авторов: он всегда считал своим педагогическим долгом оберегать пишущую молодежь от сбивчивых и зыбких теорий.

Но, конечно, его и тут не оставила обычная его деликатность. Сурово осудив мою статью, он, чтобы смягчить впечатление, которое его суровость должна была произвести на меня, приписал такие строки:

«Знали бы вы, какая здесь паника, еще и теперь, хотя уже прошло 8 дней от катастрофы? И — невероятное количество “чудес”. В Сорренто даже явился с небес патрон города Антонио аббата. Гулял по улицам ночью, величественный, весь в белом, и, обокрав две квартиры, исчез. А в Неаполе на Вольеро по богатым виллам ходили монахи, предсказывая новое землетрясение и рекомендуя людям спать на улицах. Многие послушались и — потерпели. Третьего дня монахи были выслежены и арестованы».

Сообщаемая мне Алексеем Максимовичем хроника городских происшествий в Италии так не вязалась с сухим, полемическим тоном письма, до такой степени выпадала из стиля нашей деловой переписки, что цель ее была для меня очевидна: она должна была показать мне, что, хотя Алексей Максимович порицает написанную мною статью, это отнюдь не значит, что

он питает ко мне, ее автору, враждебные чувства. Такова была обычная тактика Алексея Максимовича в оберегании писательских самолюбий.

Для того же, чтобы окончательно сгладить то тяжелое чувство, которое мог оставить во мне его суровый отзыв о моей неудачной статье, он вскоре вслед за этим прислал мне шутивное письмо, в котором, между прочим, писал:

«...да, я уже дедушка, внуку мою зовут Марфа, и, кажется, она будет комической актрисой. А, может быть, — художницей, эдак вроде Виже Лебрэн<sup>43</sup>, ибо уже и сейчас заинтересована живописью, любит тыкать пальцами в картины и рассказывать о них на неизвестном языке весьма забавные истории.

Картины пишут ее родители, сын Шаляпина Борис, сын Бенуа и Соловей Ракицкий и еще многие, в том числе Борис Григорьев, который, написав портрет Горького, придал рукам его какое-то масонское положение и еще раз, в свою очередь, прославил писателя: теперь здесь говорят:

— А Г[орький]-то масон, видите?»

И так как в то время я писал книгу о детях, о детском языке, «От двух до пяти», Горький, по своему обычаю, принял и в этой работе участие:

«И в “Артамоновых”, и в “Тараканах” детские слова, вероятно, сделаны мною, а может быть, я их слышал когда-то и “освоил”.

Веру Инбер Вы, конечно, использовали, но разрешите напомнить Вам рассказ Сергеева-Ценского “Не надо” и рекомендовать Юрезанского “Человек” из его книги “Зной”».

## VII

В заключение мне следовало бы сказать о той незабываемой роли, которую сыграл Горький в истории детской литературы: как упорно он помогал нам, детским писателям, бороться с лева-ками-педолагами, сколько раз спасал он наши книги от тогдашнего Наркомпроса, от РАПП и пр. Но это большая тема, требующая особой статьи. Здесь же я скажу всего лишь несколько слов — о временах, так сказать, доисторических, ныне уже прочно забытых.

Писать о детской литературе я начал с 1907 года. Было в ней, конечно, и хорошее, но в основном она была катастрофически плоха: банальная, неряшливая, мещанская, пошлая. Хуже всего было то, что наиболее влиятельные из детских журналов и книг растлевали малолетних читателей пропаган-

дой реакционных идей. Нужно было защитить детвору от такого засилия пошлятины, и я стал обличать эти журналы и книги в ряде газетных статей («Чарская», «Задушевное слово» и пр.). Но голос мой был одинок и слаб.

Большая литература в ту пору, как это часто бывает в эпоху реакций, была увлечена «тайнами смерти и вечности», «богоборчеством», «богоискательством», мистикой и вопрос о литературе для пятилетних-семилетних детей казался ей чересчур незначительным. На меня стали смотреть как на маньяка, надоедливо скулящего о малоинтересных вещах.

«Что отвратительно поставлено в детских журналах, — писал я тогда же, больше полувека назад, — это стихи. Детских поэтов у нас все еще нет, а есть какие-то мрачные личности, которым легче пролезть в игольное ушко, чем избежать неизбежных «уж», «лишь», «аж», «вдруг», «вмиг», которые в муках рождают унылые вирши про рождество и про пасху».

Я и не предвидел тогда, что доживу до расцвета детской поэзии, какого никогда не бывало ни в старинной нашей литературе, ни в новой, что у меня на глазах выдвинется когорта поэтов, которые поднимут этот захудалый и всеми презиравшийся жанр до высоты огромного искусства — и не только в РСФСР, но и на Украине, и в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане, что вообще детская литература делается, как любил выражаться Горький, великой державой, завоевавшей себе признание у самых строгих и взыскательных читателей нашей страны, а также в Японии, в Индии, в Болгарии, в Югославии, в Исландии.

Об этом, повторяю, я не смел и мечтать. Первый мечтатель, которого я встретил в то давнее время, был Горький. Помню, меня обрадовало при первой же встрече с ним, что он не только ненавидит глубочайшею ненавистью ту убогую фальшь, которая звалась тогда детской литературой, но отчетливо знает, какую нужно литературу создать, чтобы вытеснить из обихода детей и Чарскую<sup>44</sup>, и Лукашевич<sup>45</sup>, и «Задушевное слово», и до такой степени конкретно, во всех подробностях, предвидит ее, будто она уже стала реальностью.

Как было сказано выше, именно из-за детской литературы он и познакомился со мною. Когда я пытался печатно обличать ее беспринципность и дрянность, я и не подозревал, что Горький сочувственно следит за моими попытками. Но однажды, в сентябре 1916 года, ко мне пришел от него художник, Зиновий Гржебин, работавший в издательстве «Парус», и сказал, что Алексей Максимович намерен наладить при этом издательстве



детский отдел с очень широкой программой и хочет привлечь к этому делу меня. Было решено, что мы встретимся на Финляндском вокзале и вместе поедem в Куоккалу, к Репину, и по дороге побеседуем о «детских делах».

Я пришел к поезду в назначенный час. Первые минуты знакомства были для меня тяжелы. Горький сидел у окна, за маленьким столиком, угрюмо упершись подбородком в большие свои кулаки, и изредка, словно нехотя, бросал две-три фразы Зиновию Гржебину. А потом, не поднимая головы, стал хмуро глядеть в окно на унылые клочья паровозного дыма — ни разу даже не посмотрел в мою сторону. Я затосковал от обиды.

Но вдруг в одно мгновение он сбросил с себя всю угрюмость, приблизил ко мне греющие голубые глаза (я сидел у того же окошка на противоположной скамье) и сказал повеселевшим голосом с сильным ударением на «о»:

— По-го-во-рим о детях.

И стал рассказывать о своих встречах с детьми, о своих наблюдениях над ними. Говорил о трех девочках Зиновия Гржебина (я тоже знал этих талантливых девочек — Капу, Бубу и Лялю), говорил о мальчишке-калеке, которого он вывел в рассказе «Страсти-мордасти», о нижегородских, итальянских детях, воспроизводя их забавные речи, а порою и мимику. Я видел: самое воспоминание о том, что в этом мире существуют дети, чудотворно расплавил его недавнюю хмурость, словно он был благодарен кому-то, что существует на свете такое поэтичное, неиссякаемое, вечно обновляющее всю нашу жизнь, творческое, непобедимое племя детей.

Что Горький может быть *такой*, я не знал. Он оказался совершенно не похож на того, каким его изображали мне его друзья и враги, каким я представлял его себе по его сочинениям.

Тут-то он и заговорил о борьбе за полноценную детскую книгу. Оказалось, что он, единственный из всех литераторов, которых я в то время встречал, так же ненавидит всех этих Туминов, Елачичей, Александров Кругловых<sup>46</sup>, врагов и душителей детства.

— Детскую литературу, — говорил он, — у нас делают ханжи и прохвосты, это факт. Ханжи и прохвосты. И разные перерзлые барыни. Вот вы все ругаете Чарскую, Клавдию Лукашевич, «Путеводные огоньки»<sup>47</sup>, «Светлячки»<sup>48</sup>, но ругательствами делу не поможешь. Представьте себе, что эти мутноглазые уже уничтожены вами, — что же вы дадите ребенку взамен? Сейчас одна хорошая детская книга делает больше добра, чем десяток полемических статей. Если вы в самом деле хотите,

чтобы эта гниль уничтожилась, не бросайтесь на нее с кулаками, а создайте нечто свое, настояще художественное, и она сама собою рассыплется. Это будет лучшая полемика — не словом, а творчеством.

Я давно носился с соблазнительным замыслом — привлечь самых лучших писателей и самых лучших художников к созданию хотя бы одной-единственной «Книги для маленьких», в противовес рыночным изданиям Сытина, Клюкина, Вольфа<sup>49</sup>. В 1911 году я даже составил подобную книгу под сказочным названием «Жар-птица»<sup>50</sup>, пригласив для участия в ней А. Н. Толстого, С. Н. Сергеева-Ценского, Сашу Черного, Марию Моравскую<sup>81</sup>, а также многих первоклассных рисовальщиков, но книга эта именно из-за своего высокого качества (а также из-за высокой цены) не имела никакого успеха и была затерта базарною дрянью.

Оказалось, что Горький знаком и с «Жар-птицей».

— Но этого мало, — сказал он, — тут нужна не одна книга, а по крайней мере триста-четырееста самых лучших, какие только существуют в литературе всех стран, — и сказки, и стихи, и научно-популярные книги, и исторические романы, и Жюль Верн, и Марк Твен, и Миклухо-Маклай... Только таким путем и возможно бороться с этой мерзостью... И рисунки в детских книжках должны быть высочайшего качества — не каракули каких-нибудь Табуриных, а Репин, Добужинский, Замирайло...<sup>52</sup>

Я слушал его с восхищением. Наконец-то детская литература будет вырвана из рук аферистов и пошлых бездарностей!

Но радость моя вскоре омрачилась, так как Горький потребовал, чтобы в ближайшие дни я принял участие в выработке подробной программы издательства, а я чувствовал себя неподготовленным, оробел и смутился.

Вскоре я пришел к нему в издательство «Парус», и мы (вместе с Александром Бенуа) стали составлять под его руководством гигантский и, как мне казалось тогда, совершенно нереальный список лучших детских книг всего мира, которые необходимо в ближайшее время издать. А. Н. Тихонов (Серебров), впоследствии автор чудесных воспоминаний о Льве Толстом, Чехове, Горьком, Комиссаржевской и др., тогда заведовал издательством «Парус» и тоже принял участие в нашей работе\*.

\* Книга Александра Сереброва (Тихонова) называется «Время и люди». Это был человек большого размаха, талантливый организатор.

Казалось бы, все эти планы были сплошной фантастикой. Ведь Горький хорошо сознавал, что детская литература в то время была безлюдной и бесплодной пустыней. И все же он действовал так, словно в этой пустыне уже существуют десятки деятельных и дружно сплоченных талантов. Да и весь составлявшийся Алексеем Максимовичем план являлся по своему духу, так сказать, прадедом или даже прапрадедом нынешнего детгизовского плана. В нем был тот же широкий охват всех многообразных интересов ребенка, и даже многие рубрики в нем были такие же, какие имеются в нынешних планах.

В работе с Алексеем Максимовичем для меня впервые стало ясно, что детская литература чрезвычайно трудоемкое и сложное дело, требующее раньше всего большой эрудиции. Эрудиция Горького в этой области была всеобъемлющей. Обнаружилось, что он знает не только парадные комнаты детской словесности, но и все ее чердаки и подвалы. Знает и Борьку Федорова<sup>53</sup>, и Фурмана<sup>54</sup>, и старуху Ишимову<sup>55</sup>, и Клавдию Лукашевич, и Желиховскую<sup>56</sup>, и Александра Круглова. Французская литература для детей была столь же досконально известна ему, как и голландская, и чешская, и американо-английская.

— Нужно, — говорил он, — перевести скорее такие-то и такие-то книги, — и улыбался приветливо по адресу этих замечательных книг, а я, к стыду своему, даже их заглавий никогда не слышал, хотя и занимался детской литературой всю жизнь. Поэтому к каждому нашему совещанию мне приходилось готовиться, словно к экзамену, и впоследствии это принесло мне немалую пользу.

Разрухой, войной, революцией работа Горького была прервана на короткое время, но уже в 1919 или 1920 году Горький снова принялся за нее. От того времени у меня сохранилось несколько горьковских списков, и повторяю, что только теперь, освободившись от всяких педологических и иных предубеждений, Детгиз осуществляет программу, которая была намечена Алексеем Максимовичем в те давние годы.

К сожалению, в то время эта программа так и осталась мечтой. Были изданы всего лишь несколько книг, в том числе «Вильгельм Телль», «Айвенго» и ныне несправедливо забытая «Елка».

Необходимо сказать об этой книге подробнее: в качестве библиографической редкости она почти никому не известна, а между тем это первая детская книга, которую проредактировал Горький.

Первоначальное ее название было «Радуга». Она предназначалась для детей младшего возраста. В ней были иллюстрации Репина, Лебедева<sup>57</sup>, Замирайло, Валентины Ходасевич, А. Радакова<sup>58</sup>, Юрия Анненкова, Добужинского, Александра Бенуа, Сергея Чехонина<sup>59</sup>. Из-за типографской разрухи эта «Радуга» так долго печаталась, что вместо марта-апреля 1917 года вышла лишь в следующем году, в конце января, в многоснежную зиму, когда ни о каких радугах не могло быть и речи. Поэтому издательство внезапно решило переименовать нашу «Радугу» в «Елку». Это пагубно отразилось на внешности книги, потому что мы принуждены были выбросить и прелестную многоцветную обложку, и пышный форзац, изображающий радугу, на которую карабкается веселая толпа малышей. Все это великолепие было заменено некоей скудной банальностью, состряпанной наспех и чрезвычайно огорчившей Алексея Максимовича. Особенно был неприятен ему рисунок на первой странице, где елку зажигают ангелочки, проникшие в книгу, так сказать, контрабандой, после того как она была сверстана и подписана Горьким к печати. Ведь в том и заключалось боевое своеобразие нашего сборника, что из него были изгнаны серафимы, ангелы-хранители, волхвы, вифлеемские звезды, считавшиеся необходимыми аксессуарами подарочных книг того времени, и вдруг как вывеска сборника — на первой же страницы чуть не две дюжины херувимчиков с крылышками, а на вершине елки, на маленьком облаке, уютно примостился как ни в чем не бывало младенец Христос, благословляющий обеими руками всю эту небесную ораву.

Неприятный сюрприз был устроен художником, которому Горький вверил всю иллюстрационную часть нашей «Елки».

Действительно, херувимчики находятся в резком противоречии со всем содержанием и замыслом книги. Такие вещи, как рассказ Алексея Толстого «Фофка», сказка Любавиной «Как пропала баба Яга», направлены именно к искоренению мистики. Горький говорил нам, когда мы принимались за составление сборника: «Пожалуйста, никаких вифлеемов. Побольше юмора, даже сатиры».

Сказка самого Горького «Самовар», помещенная в начале всей книги, есть именно сатира для детей, обличающая самохвальство и зазнайство. «Самовар» — проза вперемешку со стихами. Вначале он хотел назвать ее «О самоваре, который зазнался», но потом сказал: «Не хочу, чтобы вместо сказки была проповедь!» — и переделал заглавие.

К тому же сатирическому жанру принадлежит стихотворение Софии Дубновой и Натана Венгрова<sup>60</sup> «Моя учительница», а также норвежская сказка «О глупом царе», сильно обработанная Алексеем Максимовичем.

Вообще юмор в качестве меры воздействия на детскую душу Алексей Максимович ценил высоко и очень обрадовался, когда я привез из Куоккалы сказку Ивана Пуни<sup>61</sup> «Иеремия Лентяй». Пуни был художник-футурист, друг Маяковского, застенчивый и молчаливый молодой человек, обладавший редкостным талантом выдумывать необузданно фантастические, забавные сказки. Горький смеялся, когда на нашем очередном «совещании» я читал вслух «Иеремию Лентяя» — о волшебных ножницах, начисто выстригших горностаевую королевскую мантию. С первых же строк этой сказки — о старике парикмахере, который «был такой старенький и медлительный, что пока немножко волос сострижет, уж другие на их месте вырастают», — Горький стал оживленно смеяться и позвал из другой комнаты группу художников, чтобы они пришли послушали. Он хотел повидаться с автором, но Пуни до того законфузился, что не решился прийти к нему в назначенный срок и даже стал утверждать, будто сказка написана не им, а его женой, Богуславской. В подзаголовке пришлось напечатать: «Сказка Кс. Богуславской. Рисунки Ив. Пуни».

Так же весело смеялся Горький, когда художник Добужинский, который должен был нарисовать для какого-то ребуса сотню карикатурных человеческих лиц, нарисовал карикатуры на разных тогдашних общественных деятелей — и раньше всего на самого Горького. Рисунок этот был помещен на 39-й странице. Портрет Горького — пятый в самом верхнем ряду. Тут же даны шаржи на Станиславского, Алексея Толстого, Игоря Грабаря, Федора Сологуба, Билибина, на меня и многих других. Хотя этот юмор был, так сказать, домашнего свойства и не предназначался для малолетних читателей, Горький любил культивировать его в нашей работе, дабы создать атмосферу веселья, которая, по мнению Алексея Максимовича, была нужна для творцов детской книги.

Я значусь на титуле составителем «Елки», но много материала для нее добыл Горький. Он даже, несмотря на болезнь (у него в ту зиму болела нога), ездил в Финляндию к Репину, чтобы попросить рисунков для этого сборника. У Репина в кабинете висела тарелка с изображением одного придурковатого юноши.

— Неплохой Иванушка-дурачок, — сказал Горький. — Пригодится для нашего альманаха, для детского... Попросите Илью Ефимовича, чтобы позволил снять с него копию.

— Но кто напишет текст к этой картинке?

— Нужно взять народную скаку из такого-то и такого-то сборника, лучше всего вот такой вариант.

Тут он снова обнаружил большую ученость — на этот раз по части фольклора.

— А вот какую сказку об Иванушке слышал я от бабки, — сказал он в поезде на обратном пути.

И, не глядя ни на кого, даже словно конфузясь, стал рассказывать нам волшебную сказку о глупом Иванушке, который жил работником у медведя Михайла Потапыча и...

Но тут в вагон вошло слишком много людей, которые, увидев его, стали назойливо вслушиваться, и он замолчал.

Через несколько дней Горький записал эту сказку, и она появилась в нашем сборнике «Елка», причем в качестве иллюстрации к ней тут же был напечатан «Иванушка» Репина.

Много вынес я мук с этой проклятой тарелкой. Репин дал ее мне на неделю, а типография продержала ее месяца три и в конце концов чуть не разбила. В тогдашних письмах ко мне Репин неоднократно спрашивает:

«Где же тарелка?»

Сборник вышел очень неплохим, но во время его составления я опять-таки с горечью чувствовал, что детская литература — пустыня, в которой нет даже миражей и оазисов. Сборник, в сущности, строился из произведений «взрослых» писателей — Горького, Ал. Толстого, Валерия Брюсова, а талантливых детских прозаиков и детских поэтов не было, за исключением разве Марии Моравской, которая в своих детских стихах становилась все более жеманной.

Как не хватало нам в ту пору Маршака, Бориса Житкова, Сергея Михалкова, Барто и других мастеров, вошедших в детскую литературу позднее и продолжавших, так сказать, ту самую линию, которая была намечена Горьким в его тогдашних программах!

Горький и сам сознавал, что в детской литературе безлюдье, и потому трогательно уговаривал каждого, в ком чувствовался хоть проблеск дарования, чтобы тот непременно писал для детей. Казалось, он хлопочет о какой-то личной услуге — такой у него был просительный голос.

Этот же просительный голос я слышал у него позднее, во времена «Всемирной литературы», когда к нему на Кронверкский пришли по его зову переводчики. Он усадил их у себя в кабинете и начал с тоскою упрашивать:

— Ну, пожалуйста, очень прошу вас... переводите, пожалуйста, лучше. Ну, сделайте одолжение, пожалуйста.

Во время составления новой программы Горький часто высказывался по общим вопросам детской литературы, которые и для нашего времени не утратили своей актуальности.

Помню, один молодой литератор в 1920 году предложил издательству проект: обновить и переработать все главнейшие сочинения Жюль Верна. Он утверждал, что Жюль Верн уже устарел, что прославляемая им прогрессивная техника кажется нынешнему читателю чрезвычайно отсталой, и брался «осовременить» Жюль Верна.

Мы долго обсуждали предложение молодого писателя, его проект сначала понравился Горькому. Горький любил всякую литературную смелость. Но потом, как бы возражая себе самому, Алексей Максимович сказал:

— Боюсь, что тронешь в Жюль Верне хоть ниточку, расплзется вся ткань. У него, например, говорится: «Это было двадцатого мая тысяча девятьсот двадцатого года», вам придется переиначивать каждое слово. Чуть вы перестроите машины, вам придется перекраивать костюмы, а заодно и географию, и историю, и нравы, и быт. Не лучше ли в таком случае написать новую книгу? Нет, я прихожу к убеждению, что переделывать Жюль Верна нельзя. Я вообще против того, чтобы мы перерабатывали классиков. Некоторые сокращения, конечно, возможны, — скажем, устранение слишком скучных подробностей, — но в остальном наши подростки и старшие дети имеют полное право получить любую книгу Диккенса или Виктора Гюго в ее подлинном виде. Я враг переработок для детей старшего возраста. Для младших — другое дело. Если вы переделаете «Короля Лира» для младших, выйдет милая сказка о старике и его злых дочерях, а если вы переделаете «Короля Лира» для старших, выйдет убудок, урод. Особенно недопустимы переделки «Одиссеи», «Калевалы», русских былин и т. д. Конечно, есть классики, которые только и живут в пересказах. Например, «Мюнхгаузен». Распе был очень слабым, неумелым писателем, и только вольные пересказы французов и немцев сделали его всемирным классиком<sup>82</sup>. Но это редкостный случай. А у нас норовят пересказать даже легенды о Круглом столе. На это я никак не могу согласиться.

Кто-то неудачно возразил, что «Калевала» сама по себе есть переделка.

— Но Ленрот<sup>63</sup> гениальный народный поэт, — сказал Алексей Максимович. — Он не переделывал народных легенд, а воссоздавал их, потому что и сам был народ. А эти закройщики убивают в народной поэзии народность.

Кто-то напомнил Горькому, что он сам пересказал недавно русскую народную сказку «Про Иванушку-дурачка».

— Я пересказал эту сказку для маленьких, — ответил Горький, — а для старшего возраста, уверяю вас, не требуется никаких пересказов. Почему между подростком и, скажем, Эсхилом становится какой-то ремесленник? В детской литературе должны существовать одновременно два «Гулливера»: и маленький «Гулливер», для семилетних детей, в виде коротенькой сказки, и полный «Гулливер», для детей старшего возраста. Но вообще переделки в детской литературе допустимы лишь в самых исключительных случаях, да и то, если они очень талантливы. В основе же детской литературы должно быть вдохновение и творчество. Ей нужны не ремесленники, а большие художники. Поэзия, а не суррогаты поэзии. Она не должна быть придатком к литературе для взрослых. Это великая держава, с суверенными правами и законами...

Так в далекие годы утверждал Алексей Максимович то беспримерное уважение к ребенку, на основе которого и начала расцветать советская литература для детей.

